

В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ

**«ХОЖДЕНИЕ ДУШИ ПО МЫТАРСТВАМ»
В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ»**

(Статья вторая)

Настоящая статья — продолжение разговора на тему, о которой мне уже приходилось писать.¹ Поскольку обоснование ее правомерности дано в опубликованных работах, я позволю себе лишь напомнить общее положение, коснувшись некоторых поясняющих его деталей, для того чтобы двинуться дальше.

Совершив преступление и убив с дьявольской помощью не только других, но и себя, Раскольников сделал шаг, не входивший в его расчеты (ср.: «Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать» — 6, 7), и ступил за пределы этого мира. Он неожиданно «обмер» сам, «помертвел».

«Помертвение» героя, начиная со сцены убийства, передается разными мотивами. В частности, благодаря ироническому обыгрыванию пушкинских стихов, обращенных к А. Мицкевичу. Так, советуясь с доктором насчет того, чтобы пригласить Раскольникова, едва очнувшегося от полного беспамятства, к себе на новоселье, Разумихин говорит: «...я как раз новоселье справляю <...> вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами!» (6, 103). И затем, приглашая уже самого Раскольникова: «Чаишко, компания... А нет, — так и на кушетке уложу, — все-таки между нами полежишь...» (6, 130), — т. е. «полежишь» между сидящими и ходящими, говорящими и действующими в каком-то особом, отличном от них (мертвом) виде. Ср. у Пушкина:

Он между нами жил...²

В применении к Раскольникову: жил, да умер (или «обмер»). Теперь Раскольников сам справляет «новоселье», так что в гостях

¹ См.: *Ветловская В. Е.* 1) Анализ эпического произведения: Логика положений («Тот свет» в «Преступлении и наказании» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1997. Т. 14. С. 117—129; 2) «Хождение души по мытарствам» в «Преступлении и наказании» Достоевского // Там же. СПб., 2001. Т. 16. С. 97—117; 3) Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. СПб., 2002. С. 125—153.

² *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1948. Т. 3. Кн. 1. С. 331 (стихотворение написано в 1834 г., опубликовано В. А. Жуковским в 1841 г.).

у Разумихина он был бы и на месте, и нет, поскольку его новая обитель предполагает или иную, или в ином качестве предстающую «компанию».

Будучи *ни живым, ни мертвым* (вернее: *еще живым и уже мертвым*), герой обретается на этом свете и на том, и все, что встречается ему на пути, ввиду указанных обстоятельств освещается особым светом. Вопреки тому, о чем Раскольников «мечтал» и что ему «представлялось» (преступление не причинит ему никакого ущерба, так как его «дело» нельзя считать преступлением), он испытывает и здешние, и нездешние муки. Перемещение в материальной плоскости и реальном пространстве, как и остановки на этой дороге, оказываются одновременно перемещением и остановками в движении по вертикали. Сквозной мотив «лестницы» в своей неоднозначности становится постоянным символическим знаком двуплановости рассказа.

В реальном плане Раскольников может по той, другой и третьей лестнице подняться и спуститься, в случае нужды и, несмотря на сторожей, — «улизнуть». Например, спускание с лестницы украдкой во избежание встречи с хозяйкой в начале романа (6, 5—6) или далее: «Только бы с лестницы сойти! А ну как у них там сторожа стоят, полицейские!» (6, 100), и затем слова Разумихина: «...давеча нас, меня и доктора, чуть не прибил! <...> И тот уступил, чтобы не раздражать, и ушел, а я внизу остался стеречь, а он тут оделся и улизнул. И теперь улизнет, коли раздражать будете...» (6, 153).

Но в плане иносказательном — лестница только одна, она ведет вверх, предполагает подъем все более крутой и опасный. Ни спуститься, ни «улизнуть» по этой лестнице, где на каждой ступени грешника ждут сторожа (мытари-бесы) и новые муки, нельзя. Но очень легко с нее сорваться. «Прохождение мытарств, — объясняет старец Геннадий Белгородский († 1987), — можно сравнить с подъемом по лестнице. Как по гнилой лестнице высоко не поднимешься, свалишься и сломаешь себе шею, так и греховный человек не может пройти мытарств», т. е. всю лестницу испытаний.³ (Правда, у Раскольникова в его неопределенном положении вплоть до конца повествования остается надежда на искупление смертного греха и освобождение от преждевременной пытки).

Происходящие с героем события, а также лица, оказывающиеся с ним рядом, то менее, то более очевидно утрачивают свою земную определенность и приобретают призрачный характер «миров иных». Это создает, если воспользоваться излюбленным определе-

³ Православный календарь. 2004. Наследие святой Руси. По благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. [Б. м.], 2004. (22 июля, 2004).

нием Достоевского, «фантастический» фон для вполне реальной картины.

Недоверие и страх, которые Раскольников ощущает перед незнакомыми, а иногда и знакомыми людьми (он боится официального преследования, свидетелей, улик), здесь естественно отдает еще и мистическим ужасом. Это начинается сразу после убийства, с появления дворника, официальной повесткой пригласившего Раскольникова в полицейскую контору и одновременно — на путь мытарств (6, 72—73). Так происходит и дальше. Ср., например, встречу Раскольникова с матерью и сестрой: «...я очень слаб, поддержи меня... сейчас ведь и лестница...

— Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин.

— Голова немного кружится <...> Смотри, что это? Смотри! Смотри!

— Что такое?

— Разве не видишь? Свет в моей комнате, видишь? <...>

— Что ты? Да я провожу тебя, вместе войдем! <...>

Они стали взбираться на лестницу...» (6, 150).

Разумихин, сопровождающий Раскольникова в этом (и не только в этом) подъеме, играет роль его ангела-хранителя («расторопный молодой человек», «и расторопный, и добрый», «расторопный и... преданный молодой человек», — как говорит о нем Пульхерия Александровна (6, 151, 154, 158); «...нам сам Бог послал этого господина <...> На него можно положиться, уверяю вас», — как говорит о нем Дунечка (6, 156)). Отсюда его фамилия Разумихин, точнее: Вразумихин, ведь собственного разума, трезвого взгляда на вещи (что бы он сам на этот счет временами ни думал) Раскольникову не хватает:⁴ «Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня все величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын, а он (Раскольников. — В. В.) мой приятель» (6, 93). Позднее Лужин, ошибаясь, называет Разумихина «господином Рассудкиным» (6, 231). Ошибка Лужина напоминает о замечании Раскольникова, которое мелькнуло у него в воодушевлении от потерянной было и вновь обретенной возможности осуществить задуманное злодеяние (он увидел топор, блеснувший ему в глаза из дворничьей каморки): «Не рассудок, так бес!» (6, 60). В данном случае: или рассудок, или бес; или «господин Рассудкин», или нечисть. Эта мысль повторяется во всех ситуациях, когда Разумихин в ответ на отказ Раскольникова к нему прислушаться (или желание прогнать от себя) оставляет «приятеля» с чертом: «Ну так чер-р-рт с тобой!..» (6, 89; ср.: 6, 130, 131

⁴ Ср. в черновиках к роману молитву Раскольникова по возвращении домой после обморока в полицейской конторе: «Разум, разум дай, Господи, разум» (7, 30).

и др.). Тем не менее, будучи с некоторых пор ангелом-хранителем героя, именно Разумихин обычно с ним «нянчится»: «...я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь» (6, 112). Позднее его сменяет Соня (ср.: 6, 403). Но вернемся к встрече с родными:

«Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге как вкопанный <...>

Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе (мать и сестра.— В. В.) бросились к нему. Но он стоял как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом (вспомним «гром», и «молнию», и «перуны» поручика Пороха в полицейской конторе — свидетельство того, что в этот момент герой стоит и на другой, чем та, где поручик Порох, и, как ни странно, на той же «лестнице».— В. В.). Да и руки его не поднимались обнять их: не могли <...> Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке» (6, 150). Случилось то, что в виде «ужасного ощущения» явилось ему еще в конторе: «...он ясно ощущал <...> что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям <...> и будь это всё его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним...» (6, 82).

Преступление, отделив Раскольникова от родных, превратило общение с ними в пытку: «Не мучьте меня! <...> Я не могу, не могу, — раздражительно повторял он, — не мучьте! Довольно, уйдите... Не могу!...» (6, 151). И затем, при следующем свидании, доктор «с удивлением заметил в нем, с приходом родных, вместо радости, как бы тяжелую скрытую решимость перенести час-другой пытки, которой нельзя уж избежать», и т. д. (6, 171).

Если в общении с родными мука заключается в том, что близкие люди внезапно сделались ему чужими, то в общении с чужими, более того — враждебными и ненавистными герою людьми, она в том, что эти чужие (в весьма существенных пунктах) оказались ему близки. Так обстоит дело с Лужиным, появление которого (еще до встречи с матерью и сестрой) Раскольников тоже воспринял с недоверием и страхом (6, 112). И понятно: ведь любое столкновение с другими и на любых путях (*здесь ли, там ли*) грозит ему обвинением и «казнью». Предполагаемыми или действительными — в земном странствии героя и принудительными, неизбежными (уже без всяких предположений) — в странствии потустороннем.

Свидание с Лужиным закончилось тем, что Раскольников в гневе послал его к черту: «Убирайтесь к черту!» (6, 119). И далее: «... Дуня, я давеча Лужину сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту...» (6, 152). Но Раскольников мог бы не горячиться, так как черт от Лужина не отлучался (ср. слова самого Раскольникова,

как только он узнал о Лужине из письма матери: «А впрочем, черт с ним!..» — 6, 37), и именно он, черт, «принес» ему этого господина для пущей муки: «...черт его принес теперь» (6, 120). Ведь вовсе этого не желая, Лужин внес-таки свой вклад в «общее дело» (истязания главного героя), он и к этому делу «прицепился» (6, 116), дав убийце хороший повод для малоприятных размышлений.

« — Да об чем вы хлопчете? — неожиданно вмешался Раскольников (в разговор о современных преступлениях, и в частности, об убийстве старухи процентщицы. — В. В.). — По вашей же вышло теории!

— Как так по моей теории!

— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

— Помилуйте! — вскричал Лужин» (6, 118). И далее: « — На всё есть мера <...> экономическая идея еще не есть приглашение к убийству...» (6, 118).

Знакомство с Лужиным и его убеждениями, извлеченными из расхожих положений социальной и экономической науки, начинают тему компрометации теоретических построений Раскольникова — тех построений, которые явились идейным обоснованием преступления и которые до поры до времени (до этого преступления, во всяком случае) казались герою абсолютно правильными: «...нет никаких сомнений во всех этих расчетах <...> всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика» (6, 50).

Поскольку грех убийства и ограбления здесь имеет теоретическую подоплеку, опровержение этих теорий (в глазах самого преступника), указание на их пошлую ограниченность, их ложь становится весьма действенным способом «казни». Ведь это опровержение, свидетельствуя о недостатке способности суждения, весьма болезненно для высокомерной гордыни. Не случайно, мысль о наказании за совершенное злодейство у Раскольникова впервые возникает вместе с подозрениями в неблагополучии своего рассудка: «Уверенность, что всё, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. „Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает?“...» (6, 72).

Как раз с разоблачением «арифметической» теории, которая носится в воздухе (ср. разговор студента и офицера в трактире — 6, 54) и которую герой принимает за истину, и связано мытарство, где главным, хотя и мелким мытарем (сам того не подозревая) оказывается Лужин. Черт, поначалу занимавшийся с Раскольниковым всей этой «арифметикой» и одобрявший ее (ср.: «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?» — 6, 321), теперь, когда их «общее дело» было сделано, когда оно, так сказать, было «в шляпе» («С изумлением оглядывал он себя и всё кругом в комнате и не понимал: как это он

мог вчера, войдя, не запереть дверей на крючок и броситься на диван, не только не раздевшись, но даже в шляпе: она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки — 6, 71⁵), для того и «принес» Лужина, чтобы над умным героем (6, 321) посмеяться. Ведь, «принеся» Лужина, он, уж конечно, с ним (или с ними всеми) остался.

В самом деле: «арифметика» и без Дунечки связала Лужина и Раскольникова родственной связью, несмотря ни на какое отвращение героя к такому родству.⁶ Пошлый, «обыкновенный» Лужин, не способный (в отличие от Раскольникова) сделать ближайшего же шага в подхваченной с ветра теории, не хуже Раскольникова умеет считать в свой карман. Но «нравственность», «правила», о которых он бормочет («Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила...» — 6, 118), не имеют никакого отношения к этому счету. Ведь если, действуя в свою пользу, Лужин (опять-таки в отличие от Раскольникова) и наблюдает «меру», то эта «мера» определена не «нравственностью» и «правилами», а страхом уголовного наказания и угрозой потерять все. И только. Ибо рекомендации новейшей экономической науки, настаивающей на преимуществе личного интереса («Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано» — 6, 116) и устраивающей и Лужина, и Раскольникова, в принципе разрешают всякую подлость, если она выгодна и пока она выгодна. «Справедливость» и прочие высокие соображения, как начинает догадываться Раскольников, слушая пустопорожнюю декламацию Лужина, здесь ни при чем.

Для того чтобы прийти к мысли, что «людям можно резать» (и даже в любом числе), достаточно возлюбить «одного себя». А экономическая наука не только оправдывает такую возможность, но при желании (как это уже и было) возведет ее в ранг естественной необходимости, какого-нибудь «закона природы».⁷ Не только «пси-

⁵ Она «скатилась» только после того, как дело было сделано, и, надо сказать, что больше герою она вообще не понадобилась. Позднее Разумихин, переодевая Раскольникова во все «новое» (т. е. на самом деле — старое), начинает с этой шляпы: «...надо же из тебя человека сделать. Приступим: сверху начнем. Видишь ли ты эту каскетку?» и т. д. (6, 101). Ср. мотив «шляпы» на последних страницах романа: 6, 407.

⁶ В черновиках к роману об «арифметике» прямо говорят и Раскольников, и Дунечка, и Лужин: «Чебалов (будущий Лужин. — В. В.) говорит Раскольникову. „Теперь же я устроил свои дела, стало быть, и другим полезен, и чем более, стало быть, я эгоист, тем для других же лучше. А то, что по-прежнему-то: возлюби, дескать, о других думай, а свои дела запустил, вот и сел на шею к своему ближнему. Тут, знаете, арифметика“» (7,151).

⁷ Ср. теорию Т. Р. Мальтуса (1766—1834), английского священника и экономиста, изложенную им в «Опыте о законе народонаселения» (1798) и получившую широкое признание среди представителей экономической науки второй половины XIX в. Достоевский познакомился с этой теорией в кружке

хология», о которой позднее говорит Порфирий, но и «арифметика» оказалась «о двух концах», и «второй-то конец больше будет» (6, 350; ср.: 6, 346). Ведь для благополучия целого, для «общего дела», к которому Лужин тоже поспешил «прицепиться» («Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроены частных дел <...> тем более устраивается в нем и общее дело» — 6, 116), арифметически равно допустимо либо избавиться от обеспеченных в пользу нищих («арифметика» Раскольников), либо избавиться от нищих в пользу обеспеченных («арифметика» Лужина).⁸

Ни о чем подобном Лужин неспособен думать. Зато с его помощью это понимает Раскольников, заодно убеждаясь в том, что «подлец» Лужин (6, 153 и др.) действительно ему сродни. Отсюда иступление злобы и ненависти, в которое впадает Раскольников после их встречи.

Заметим: если сам Лужин не сознает собственной подлости, как не сознает и многого другого, если он и помещается где-то на нижних ступенях той «лестницы», на которую рано или поздно «сбегают» все (ср.: 6, 92), то это его не спасает: сорваться с этой лестницы вниз с помощью черта и «к черту» можно и на первой ступени. Не исключено, что в ознаменовании такой возможности Лужина уже сейчас трижды «спускают» с одной, другой и третьей лестницы (Раскольников прогоняет Лужина из своей каморки; затем он же прогоняет его из номера, где остановились мать и сестра; затем соединенными усилиями его прогоняют из квартиры Амалии Липпехель — 6, 119, 234, 310).

Помимо «арифметической» Раскольников развивает и другую теорию («Так себе теория», как говорит о ней Свидригайлов, (6, 378)), которая даже в большей степени, чем «арифметика», хотя и с тем же услужливым содействием, «тащила» Раскольникова на убийство. «Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил» (6, 321). И далее: «Я хотел тебе только одно доказать, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной!..» (6, 322).

Дело не в том, что Раскольников «вошь» (разумеется, он не «вошь», как и прочие люди), а в том, что когда бы и куда бы черт человека ни «тащил», пользуясь его уступкой, он всегда это делает для злой насмешки.

Петрашевского (и даже раньше) и был решительно с ней не согласен. Так, один из героев романа «Идиот» (Лебедев) говорит: «...уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии...» (8, 312; см. также комментарий Н. Н. Соломиной: 9, 448—449 и др.).

⁸ Подробнее об этом см.: *Ветловская В.* «Арифметическая» теория Раскольникова // Достоевский и мировая культура. СПб., 2000. Т. 15. С. 77—91.

Мотив inferнального смеха — в первую очередь над героем, его теориями, оправдывающими смертный грех, — звучит через весь роман, начиная с невинной (на первый взгляд, да и для нее самой) реакции Настасьи на слова Раскольникова о его «работе»: «...Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?»

— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.

— Что делаешь?

— Работу...

— Каку работу?

— Думаю, — серьезно отвечал он помолчав.

Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось» (6, 26). Далее таким неумеренным, странным смехом смеются над героем разные персонажи и даже он сам, правда, не отдавая себе в этом отчета (6, 86).

В данном случае: черт «насмеялся» над Раскольниковым не потому, что тот «вошь», а потому, напротив, что, лежа в темноте и упорно думая, тот пришел к противоположному убеждению. В избытке гордыни он додумался до того, что, сочтя себя человеком «необыкновенным», решил по «праву» и «по совести» других «резать».

В компрометации теории Раскольникова о «необыкновенных» людях и их «праве» на кровь «по совести» главную роль играют две из ряда вон выходящие фигуры: Порфирий (официальный представитель судебной власти) и Свидригайлов (законченный злодей, на котором клейма ставить негде). Знаменательно, что именно эти персонажи, судьбой и характерами далеко отстоящие друг от друга, «истязают» Раскольникова вместе: «И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере, он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать» (6, 342). Порфирий приемами следствия, вопросами, уточнениями, замечаниями на свиданиях-допросах подсказывает ход мысли, в русле которого обнаруживается логическая несостоятельность рассуждений героя, опровергаемых в романе пункт за пунктом. Свидригайлов в этом опровержении ставит заключительную точку.

Положение Свидригайлова по отношению к главному герою, его функция в принципе — те же, что и у Лужина. Оба они представляют собой нечто вроде увеличивающих изображение зеркал по одну и другую сторону от теоретизирующего героя, в которые тот (вместе с читателем) имеет возможность взглядеться. Они являют собой живое воплощение исхода и конца (посылок и выводов) его отвлеченных построений. Всех этих героев, включая Раскольникова, объеди-

няет (воспользуемся иносказательным смыслом повторяющегося мотива) одна *дорога*, начало которой указано Лужиным: вопреки и в отмену христианской заповеди любви к ближнему и самоотвержения предлагается заповедь любви к «одному себе», своя польза и выгода. Будучи взятой в руководство к действию, эта заповедь делает каждого человека либо палачом, либо жертвой (как правило, палачом и жертвой вместе), жертвой чьих-то теорий, чьих-то эгоистических желаний и страстей.

В проявлениях любви к себе и посягательствах на благополучие другого в принципе нет ни удержу, ни узды, кроме страха преследования по закону (уголовной ответственности), который останавливает Лужина, но не останавливает ни Раскольникова (все страхи мучают его уже после убийства), ни Свидригайлова: Раскольникова потому, что он разрешил себе грех «по совести» и не считает себя преступником; Свидригайлова потому, что он, злодействуя без всякой совести, одинаково готов и обойти закон (хитростью или деньгами), и в крайнем случае удовлетворить его на свой лад, отказавшись от жизни, уже не сулящей ему никаких удовольствий. «А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь *слишком* уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы. Ну да черт с ним, как хочет, мне что» (6, 390).

«Вздором» Свидригайлов называет любые благородные чувства («Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то!»); «Шиллер-то в вас смущается поминутно» — 6, 371, 373) и благородные теории, оправдывающие злодейство, рядящие его в покровы истины и справедливости. Он прав: преступление «по совести» не лучше преступления без совести (уж конечно — для жертв), а то, «пожалуй, еще и пощще», как выражается Лужин (6, 277).

В самом деле: уж если встал на путь любви к «одному себе», на путь «личного интереса» (6, 116), то не то что какая-то *твоя* идея (только потому, что она *твоя*), но и любое твоё желание, любой самый зверский каприз и выверт стоит чужой или чужих жизней. Как говорит Свидригайлов при первом же свидании с Раскольниковым: «Разум-то ведь страсти служит» (6, 215), т.е. при желании может ей служить. И далее, в их последнюю встречу, в ответ на вопрос Раскольникова:

« — Так вы здесь только на разврат один и надеетесь?»

— Ну так что ж, ну и на разврат! Дался им разврат <...> В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с годами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде?» (6, 359).

Как видим, «теорию», оправдывающую грех и преступление, при случае подыскать всегда можно. И даже со ссылкой на «природу» (или «провидение» — 6, 215) — ссылкой, здесь, кстати сказать, более обоснованной, чем в теоретических «фантазиях» Раскольникова. Если так, то такие теории ровно ничего не стоят. Да в них и нет нужды. Особенно в благородных. Ведь если позволил себе злодействовать, то и злодействуй, хотя бы и исключительно в свое удовольствие. Но злодействовать, да еще и с самым широким размахом (во всяком случае — в идее), а при этом думать об общем или чем-то благе, т. е. пытаться соединить несоединимое, — тут нет ни логики, ни смысла, и в перспективе — только мука, а стало быть, и никаких удовольствий. Так ведь это абсурд. Какая в этом польза? Какая выгода?

И не только «теория», но и всякая нравственная мысль, будучи уздой или мукой, тоже ни к чему — одна обуза. Поэтому Свидригайлов и говорит: «...вы вот всё охаете да охаете <...> А теперь вот и у дверей не подслушивай. Если так, ступайте да и объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус: в теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонку можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек!». И далее: «...понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что всё еще и гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться» (6, 373).

Надежды, с которыми Раскольников спешит к Свидригайлову, ожидая от него «указаний» и «выхода» («И за соломинку ведь хватаются в крайней нужде — 6, 354), как герой был принужден убеждаться, провалились: «Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова» (6, 374). Если бы к этому времени Раскольников не был измучен изнурительной борьбой с родными и чужими, с Порфирием, с самим собой до состояния одуряющей, тупой усталости, если бы его не отвлекала тревога о сестре, то это последнее свидание с Свидригайловым было бы для него в высшей степени оскорбительной интеллектуальной, нравственной и эстетической пыткой: в такую грязь он влез, ища «выхода». В результате он столкнулся лицом к лицу с дилеммой: либо отказаться от эстетики и благовидных теорий и жить или даже злодействовать дальше, как Свидригайлов, с полным спокойствием совести, либо отказаться и от этих теорий, и от этих злодейств, признав свою вину и необходимость искупления. Дорога, на которой стоял герой, вела в тупик. Вот почему Свидригайлов, пустившись по этой дороге без усталости и без оглядки, далеко обогнав на ней Раскольникова, в конце концов оказался загнанным в угол: «Оборванец, окинув взглядом Свидригайлова, встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный

номер, душный и темный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей» (6, 388).

Этот темный, сырой, грязный угол — законное обиталище всякой нечисти: мышей, крыс, мух, пауков, и это не они набиваются к Свидригайлову в соседи, а он к ним: «„Кошемар во всю ночь!“ Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит <...> На дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя <...> Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины <...> Он долго смотрел на них и наконец свободно, правой рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице» (6, 393—394).

Ловя всю жизнь, как паук, свои жертвы в расставленные им сети, Свидригайлов, конечно, не думал, что ловит самого себя (точнее: позволяет кому-то ловить себя). Но черт, который, безусловно, и ему «подслуживался» (6, 53) в этом «интересном занятии», не мог и над ним не посмеяться. Иначе в чем была бы его-то польза и выгода?

Накануне самоубийства Свидригайлов расположился «в углу, под лестницей». На лестнице его нет. Это значит, что в отличие от Раскольниковых мытарства ему не ведомы *здесь* и не грозят *там*. В самом деле, согласно православным верованиям, души святых и души злодеев их не знают — одни потому, что еще на земле они победили адские козни, другие потому, что, отступив от Бога, ревностно улаживали дьявола. Убивая других, Свидригайлов убивал себя, и ему оставалось сделать только шаг (ср. его слова, повторенные затем Раскольниковым: «У всякого свои шаги» — 6, 356, 358), чтобы окончательно скользнуть с края пропасти в самую бездну. Будучи среди тех, которые являются «мертвыми по преступлениям и грехам своим» (Послание к ефесянам св. ап. Павла, гл. 2, ст. 1), он скорее жилец *того*, чем *этого* света. Вот почему, когда он знакомится с Раскольниковым и представляется ему в своем натуральном виде (после чужих о нем слов и рекомендаций), он кажется тому призраком, продолжением inferнального сна: «Он (Раскольников. — В. В.) тяжело перевел дыхание, — но странно, сон как будто всё еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал» (6, 213—214). И далее: «А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете, — странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться <...> „Неужели это продолжение сна?“ — подумалось еще раз Раскольникову» (6, 214). Затем, после ухода Свидригайлова, Раскольников говорит Разумихину:

« — Ты его видел? <...>

— Ну да, заметил, твердо заметил <...>

— Гм... то-то ... — пробормотал Раскольников. — А то знаешь... мне подумалось... мне всё кажется... что это может быть и фантазия <...> Вот вы все говорите <...> что я помешанный; мне и показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный и только призрак видел!» (6, 225).

Раскольников не смог бы разглядеть призрачной природы незваного гостя, если бы не был болен сам, если бы они в этом смысле не были, как говорит Свидригайлов, «одного поля ягоды» (6, 221). Болезнь, овладевшая ими (одним меньше, другим больше), здесь означает уступку смерти, переход за черту, отделяющую мертвых от живых, переход за порог, который не только разграничивает пространство (мир *тот* и мир *этот*), но и время, ибо за ним в перспективе — вечность.

Свидригайлову она представляется в виде закоптелой деревенской бани с пауками:

«— Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе» (6, 221).

Это холод пахнувшей на него сатанинской бездны. Вечность в виде баньки («комнатка») с пауками по углам безусловно справедлива для тех, кто отмеренное и измеримое время земной жизни проводит в паучьих радостях и паучьих схватках. С этой мыслью связана в романе тема углов, щелей, пауков, гнездящихся в них, и мух, попадающих в их сети. Она проходит через весь роман. Например, появление на сцене старухи процентщицы: «...дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки» (6, 8). И далее слова Раскольникова: «Преступление? Какое преступление? — вскричал он вдруг, в каком-то внезапном бешенстве, — то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление?» (6, 400). (По народному поверью, сорок грехов прощается за убийство паука; например: «Мизгиря убьешь — сорок

грехов сбудешь»⁹). И также слова Раскольникова о себе: «Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне в ту минуту всё равно должно было быть!..» (6, 322). Все равно или не все равно было Раскольникову «в ту минуту», но, готовясь убить старуху, делая пробные заходы, стряпая свои «заклады», выжидая момент, коро-че: расставляя ей сети и затем убивая ее, эту «паучиху» (а заодно уже и совершеннейшую «муху» — Лизавету), убийца действовал, как паук — более удачливый и ловкий, чем «опростоволосившаяся» старушонка: «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая» (6, 8).

Образ вечности в виде деревенской баньки с пауками восходит, как думается, к мотивам сказки В. Ф. Одоевского «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко». Она вышла в свет в 1833 г. и была переиздана позднее в составе «Пестрых сказок» Одоевского в собрании его сочинений 1844 г. (из этого собрания Достоевский цитировал строки рассказа «Живой мертвец» в качестве эпиграфа к роману «Бедные люди»).

В сказке о «похождениях» речь идет от лица героя-паука из семейства *Ликос* (греч. — волк), т. е. паука-волка. Эти пауки-волки сначала на воле, а потом в стеклянной банке, «темнице» (отсюда в романе Достоевского мотив бьющейся о стекло мухи — 6, 213, 214), заняты одним — пожиранием «пернатых», а за неимением их, пожиранием себе подобных, включая жен, детей, матерей, отцов, т. е. всех вообще. В конце сказки Одоевский пишет: «После одного преступления другие уже кажутся легкими: вместе с отцом моим мы истребили все, что было живого в темнице; наконец, мы встретились с ним на трепещущем теле моего последнего сына; мы взглянули друг на друга, измерили свои силы, готовы были броситься на смертную битву... как вдруг раздался страшный треск, темница разлетелась вдребезги, и с тех пор я не видел более отца моего...»¹⁰

Рассказчик продолжает: «„Что скажете? — моя повесть не ужаснее ли повести Эдипа, рассказов Энея?»

Но вы смеетесь, вы не сострадаете моим бедствиям!

Слушайте ж, гордые люди! Отвечайте мне, вы сами уверены ли, убеждены ли вы <...> что ваша земля — земля, а что вы — лю-

⁹ Русские пословицы и поговорки / Под ред. В. П. Аникина. М., 1988. С. 424. «Мизгирь <...> паук, муховор; <...> земляной, злой паук, тарантул...» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 325).

¹⁰ *Одоевский В. Ф.* Пестрые сказки. СПб., 1996. С. 31.

ди? Что если ваш шар, который вам кажется столь обширным, на котором вы гордитесь и своими высокими мыслями, и смелыми изобретениями, — что, если вся эта спесивая громада не иное что, как гнездо неприметных насекомых на какой-нибудь другой земле? Что если исполинам, на ней живущим, вздумается делать над вами — как надо мною — физические наблюдения, для опыта морить вас голодом <...> А, господа! Что вы на это скажете?..“

Господин Ликос замолчал, не знаю, что подумали другие, но меня до смерти испугали эти вопросы...»¹¹

Пространственные отношения сказочной фантастики Одоевского у Достоевского становятся отношениями пространственно-временными, и вечность, ограниченная пределами ада и до поры до времени находящаяся во власти князя тьмы, выглядит паучьей банкой, в полном соответствии с реальностью отражая жизненные связи в обезбоженном, безблагодатном мире, где *homo homini lupus est* и где один другого пожирает, как какие-нибудь пауки в банке.

Государственная власть отнюдь не нарушает паучьих нравов и порядка, при котором каждый озабочен исключительно своим интересом. Напротив. Не случайно наиболее наглядным и убедительным образом «паучья» тема разработана в связи с Порфирием, правоведам, приставом следственных дел, ведущим официальное следствие по делу об убийстве и ограблении старухи процентщицы и ее сестры Лизаветы. Самая внешность Порфирия в этом смысле характерна: «Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать» (6, 192).

Ловя Раскольникову в расставленные ему сети, Порфирий играет роль паука и по должности, и по внутреннему влечению. Например, во время второго свидания его с Раскольниковым: «Да — да — да! Не беспокойтесь! Время терпит, время терпит-с, — бормотал Порфирий Петрович, похаживая взад и вперед около стола, но как-то без всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к бюро, то

¹¹ Там же. С. 31—32.

опять к столу, то избегая подозрительного взгляда Раскольникова, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя на него прямо в упор. Чрезвычайно странно казалась при этом его маленькая, толстенная и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивавший от всех стен и углов» (6, 255—256). Порфирий занят привычным делом: он плетет паутину для очередной жертвы. И далее: «По комнате он уже почти бегал, всё быстрее и быстрее передвигая свои жирные ножки, всё смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левою беспрерывно помахивая и выделявая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам» (6, 260). (Я опускаю другие мотивы того же рода). Наконец следует учесть и его признания относительно приемов собственной работы: «...будь он (подследственный, Порфирий имеет в виду Раскольникова. — В. В.) у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так ведь ей-Богу, закружится, право-с, сам придет да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже на дважды два походить будет <...> оно и приятно-с <...> Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! <...> Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он всё будет, всё будет около меня <...> кружиться <...> станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. <...> И всё будет, всё будет около меня же круги давать, всё суживая да суживая радиус, и — хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с, а это уж очень приятно-с, хе-хе-хе! Вы не верите?»

Раскольников не отвечал, он сидел бледный и неподвижный, всё с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия.

«„Урок хорош! — думал он, холодея. — Это даже уж и не кошка с мышью, как вчера было“» (6, 261—262). Действительно, это паук с мухой, как явствует, в частности, из соображений Раскольникова о Порфирии: «Нет у тебя доказательств, и не существует вчерашний человек! А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно, да в этом состоянии и прихлопнуть, — только врешь, оборвешься, оборвешься! <...> Нет, брат, врешь, оборвешься!» (6, 262). И т. д.

Отношение к убийце, вообразившему себя Наполеоном, как к какой-нибудь мухе, — обдуманый прием, рассчитанный на то, что самолюбивый, мнительный, нетерпеливый противник в ответном пароксизме злобного раздражения себя выдаст. И Порфирию это почти удалось: « — Лжешь ты всё! — завопил Раскольников, уже не удерживаясь, — лжешь, полишинель проклятый! <...> Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал...

— Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родион Романыч. Ведь вы в исступление пришли. Не кричите, ведь я людей позову-с!

— Лжешь, ничего не будет! Зови людей! Ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел, до бешенства, чтоб я себя выдал, вот твоя цель! Нет, ты фактов подавай! Я всё понял! У тебя фактов нет...» (6, 269).

Три свидания Раскольников с Порфирием — самые тяжкие для героя мытарства. Сыграв роль паука, герой сам теперь оказался в роли жертвы (отсюда перекликающиеся мотивы сцены убийства и хитроумных, изматывающих убийцу допросов Порфирия). И на Раскольникова, как и следовало ожидать, нашелся паук, который был способен и раз, и другой, и третий «огорошить его в самое темя» (как говорит Раскольников — 6, 256) «обухом-то-с» (как язвительно добавляет Порфирий — 6, 258, 267).

Мука, испытываемая Раскольниковым во время свиданий с Порфирием, подтверждает истину некогда сказанных слов: «Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 1—2). И еще: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же (судом), каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же» (Послание к римлянам св. ап. Павла, гл. 2, ст. 1).

Но если Раскольников, будучи убийцей (суровой судьей и исполнителем приговора), испытывает вполне заслуженную муку, это не значит, что оправдан Порфирий, его мытарь, ведь запрет судить другого, да еще столь немилосердно, распространяется и на него. В сценах свидания Раскольникова с Порфирием сочувствие читателя целиком и полностью на стороне убийцы — настолько зловецем предстает Порфирий, чья паучья фигура и чей «комизм», являющийся в действительности сознательной, рассчитанной и жестокой издевкой, выдают его inferнальные «корни» («полишинель», «буффон», т. е. шут, нечисть). Ср.: «Нет, вы, я вижу, не верите-с, думаете всё, что я вам шуточки невинные подвожу, — подхватил Порфирий, всё более и более веселая и беспрерывно хихикая от удовольствия и опять начиная кружить по комнате, — оно, конечно, вы правы-с; у меня и фигура уж так самим Богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает; буффон-с» (6, 262—263). Но у Раскольникова, являющегося предметом оскорбительной и злобной игры, «комических мыслей» не возникает.

Порфирий, однако, важен не сам по себе, каковы бы ни были его индивидуальные свойства. Будучи официальным лицом, он представляет собой власть, имеющую право казнить и миловать, и весь государственный порядок (отсюда его *имя* и *отчество*, намекающие на монархию, преобразованную по европейскому пошибу). Но этот порядок ущербен. Ему органично присущи социальные болезни (прежде всего — бедность, нищета, разительное неравенство состояний, реальных прав и возможностей), реакцией на которые (и тоже

больной) нередко является преступление. Это подтверждают слова Раскольникова, сказанные Соне в ответ на ее совет открыто признаться в убийстве: «Не будь ребенком, Соня <...> в чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Всё это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду» (6, 323; ср.: 6, 400).

Мысль о зависимости греха и преступления от социальных обстоятельств выражена в романе очень ярко, особенно в начальных главах. Что же касается официального суда, власти, милости и казни, то эта власть спокойно мирится со злом, более того — сплошь и рядом его покрывает, защищая интересы ростовщиков, содержателей питейных заведений и домов терпимости — пауков разного рода и калибра, всех этих мелких и крупных злодеев, если они сами и их действия внешне благопристойны и если им, этим злодеям, так или этак удается спрятать «концы в воду» (иногда буквально, как например Свидригайлову в убийстве Марфы Петровны). Доводы *pro* (в оправдание преступления) идут отсюда — из аномалий социального порядка и аномалий власти, защищающей такой порядок. Вот почему самая мысль о том, что он виноват перед этой властью, каждый раз приводит Раскольникова в чрезвычайное негодование, граничащее с истерическим припадком. Решительное осуждение злодейства, доводы *contra*, идут совсем с другой стороны.

Но что же выходит? Сначала государство во всеоружии пришедшего ему многообразного зла «тащит» человека на грех и преступление, а потом за этот грех и преступление с помощью таких своих «правоведов», как Порфирий (безусловно, далеко не худшего в своем роде), преступника казнит. Выходит, оно исполняет коварную, дьявольскую миссию, поскольку в этом и заключается «должность» и удовольствие дьявола, всего его сатанинского воинства и охвостья: сначала ввести человека в грех, а потом безжалостно за него казнить, чтобы самым ядовитым и ехиднейшим образом над несчастным грешником «насмеяться».

Так обстоит дело и на мытарствах: те бесы, которые «тащат» человека на грех, позднее, на мытарствах, за него казнят: «...на каждом мытарстве душу встречают бесы, которые в жизни сей искушают людей определенным грехом, например: на мытарстве блуда — те духи, которые соблазняли людей в грех блуда; на мытарстве осуждения и клеветы — которые соблазнили человека этим грехом. По роду греха бесы имеют и вид свой, т.е. чем отвратительнее грех, тем они гнуснее и наглее. И к какому мытарству душа ближе и сроднее по делам своим, там на нее и нападают с большим остервенением» и т. д.¹²

¹² Лазарь, архим. Грех и покаяние последних времен: О тайных недугах души. [М.], 2001. С. 9.

Главный враг Раскольникова, впивающийся в него и мучающий его с наибольшим остервенением, — Порфирий. Примечательно впечатление Разумихина, присутствующего при первом, не самом тяжком допросе: «И странно показалась Разумихину, рядом с этим тихим и грустным лицом, нескрываемая, навязчивая, раздражительная и *невежливая* язвительность Порфирия». И слова Порфирия: «...уж извините меня за мою назойливость (беспокою уж очень вас, самому совестно!) <...> но... меня всё тут практические разные случаи беспокоят!». И далее: «...позвольте еще вопросик один (очень уж я вас беспокою-с!), одну только маленькую идею хотел пропустить» (6, 202—204). Однако Порфирий снова и снова задает вопросы — вплоть до прощания на пороге и «ловушки», в форме коварного вопроса о красильщиках, которых Раскольников мог видеть лишь в день убийства (6, 204—205).

Порфирий, связанный с героем исключительно официальными отношениями (следователь—возможный преступник), имеет вид паука. Но в таком виде нередко представляется дьявол. В этом смысле характерно одно из его именований, которое встречается и в Евангелии: *веельзевул*¹³ — от искаженного древнееврейского «баал зевув», т.е. господин над мухами.¹⁴ Ср. также: «Поведал о себе авва Антоний: я видел все сети дьявола, распростертыми поверх земли; увидев это, я воздохнул и сказал: горе роду человеческому! кто возможет освободиться от этих сетей?». ¹⁵ Сети дьявола — паучы сети.¹⁶

Вид Порфирия, роднящий его с дьяволом, ясно указывает на то, что важнейший грех Раскольникова, который сказался в его преступлении и за который его немилосердно казнят, — грех сатанинской гордыни, богоборчество (ср. слова Сони убийце: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!...» — 6, 321). Такой же богоборческий характер имеет власть, наказывающая преступников, которых она же плодит.

Так в «Преступлении и наказании» повторяется мысль раннего творчества Достоевского: государственный порядок России, официальная власть действуют против человека и заодно с дьяволом.

¹³ См., например: Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 25; гл. 12, ст. 24, 27.

¹⁴ Шейнман М. М. Вера в дьявола в истории религии. М., 1977. С. 20.

¹⁵ Отечник, составленный свт. Игнатием (Брянчаниновым). СПб., 1891. Ч. 1. С. 31.

¹⁶ Т. А. Новичкова пишет: «Образ Сатаны сливался (в народных понятиях. — В. В.) с представлениями об аде <...> Помимо никогда не угасающего огня и не умирающих червей — орудий пыток грешников — ад наполнен насекомыми, кровососущими» (Русский демонологический словарь / Автор-сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995. С. 510). Отсюда, вероятно, и убеждение, что за убийство паука сорок грехов простится.